

Андрей Хромовских

Двойная жизнь

18+

Андрей Хромовских
Двойная жизнь

«ЛитРес: Самиздат»

2012

Хромовских А. А.

Двойная жизнь / А. А. Хромовских — «ЛитРес: Самиздат», 2012

Главный герой, наш современник Михаил Евгеньевич, в своих снах переносится в 19-ый век, где он – русский барин, тоже Михаил Евгеньевич, в своих снах живущий в 21-ом веке, где он – всё тот же наш современник Михаил Евгеньевич. Постепенно события 19-го и 21-го веков начинают соприкасаться, затем сплетаться в неразрешимый любовно-драматический клубок, и главный герой, проснувшись, порою уже не осознаёт, в каком веке находится...

© Хромовских А. А., 2012

© ЛитРес: Самиздат, 2012

Содержание

Глава I	6
Глава II	10
Глава III	15
Глава IV	20
Глава V	26
Глава VI	31
Конец ознакомительного фрагмента.	33

© Хромовских А.А., 2019

Мы никогда не живём настоящим, всё только предвкушаем будущее и торопим его, словно оно опаздывает, или призываем прошлое и стараемся его вернуть, словно оно ушло слишком рано. Мы так неразумны, что блуждаем во времени, нам не принадлежащем, пренебрегая тем единственным, которое нам дано.

Паскаль

Глава I

...Солнце проникает через смеженные веки с такою же нетерпеливою бесцеремонностью, с какою ныряльщик – индус, бирманец или другой какой азиат (пожалуй, и сам Нептун этих меднолицых туземцев одного от другого не отличит) – лезвием ножа раздрает створки раковины-жемчужницы...

...Не хочется открывать глаза: редкие, словно бы наляпанные жидкою синюшною акварелью облака, начнут утомительно перемётываться налево, а потом – и столь же утомительно – направо (по моему сегодняшнему бездеятельному наблюдению, небесный маятник облаков лишь только тем и хорош, что беззвучен, да от его раскачиваний туда-сюда полдень не прозвонит), а потому лучше, не открывая их, полёживать в гамаке (окрестные помещики, знаю, сие новомодное развлечение не приветствуют, хотя втайне завидуют), раскачивая самого себя ногою: от облачного непрерывного скаканья в моей голове свершается нехорошее кружение...

Давеча вот также нехотя, будто по принуждению, полз вверх по террасной балясине голенастый, наглый, разжиревший от кухаркиных щедрот прусак; значительно, словно капитан-исправник¹ Онуфрий Пафнутьевич Аксельбант-Адъютантский после каждой употреблённой рюмки коньяку, пошевеливал конногвардейскими усами. Исправник, кстати, третьего дня гостил, так целую бутылку, здоровяк утробистый, за обедом выкушал. Да оно и к лучшему: коньяк оказался вовсе не шутовский (как в городской, порядочной вроде бы с виду лавке, уверял пройдоха приказчик, и раболепно при этом кланялся и, как заправский цыган, пританцовывал с носка на пятку, и чуть ли не по-родственному лобызаться лез, и в лицо вонзался честнейшими глазами – и ведь обманул-таки, подлец!), а премерзостной, невесть из чего состряпанной самодельщиной, потому для Онуфрия Пафнутьевича «коньяк» этот нисколько не жаль.

Надо было прусака приشلёпнуть чем-нибудь. Свежий номер журнала «Искра»² очень кстати под рукой очутился, да что-то меня вдруг отвлекло...

Не к добру прусачина вспомнился! Знать, к дождю или, того хуже, к граду, или другой какой природной причине; ну да нет резону об этом думать...

...Не то тоска от жары навалилась, не то скука с хандрою вперемешку...

Ох, уж эта жизнь в деревне!..

Порою пристально обозришь вокруг себя – и захочется вдруг мучительно, до хруста зубовного, чего-нибудь светлого и чистого, чего нет и не было ещё на земле, – этакого, чтобы встретившись с этим светлым, чистым и неземным, возрыдать, аки младенец, взahlёб, и, умыв душу слезами и возрадовавшись от этого, вознестись над непроглядным туманом жизни, на каждый твой зов или крик с издевательской готовностью отзывающимся одним лишь эхом – вороньим карканьем, – глухим, раскатистым и далёким, доносящимся откуда-то снизу, словно бы из подвалов самой преисподней...

Однажды, давно уже (лет девять мне было), видел, как тонет лошадь в болоте. Сначала пыталась выбраться из трясины, напрягалась изо всех сил так, что мышцы под кожей вздувались и перекатывались волнами, а потом, – когда над густою грязью осталась лишь голова, – стихла, и лишь дышала часто-часто (вот тогда я и понял смысл поговорки «перед смертью не надышишься»). Когда болотная жижа коснулась ноздрей, лошадь вздёрнула голову к небесной

пустоте – и закричала голосом, способным разодрать любую, самую еретическую, душу... У меня чуть сердце не остановилось... Тогда я плакал долго – и последний раз в жизни. А сейчас, ежели и захочется душу умыть, так уже и нечем: слёзы в детстве высохли, после полагающихся к безобидным малолетним прегрешениям звонких – мимоходом – маменькиных подзатыльников и тяжеловесных – походя – папенькиных оплеух, а то и пересолённой розговой каши...

...Что-то мысли мои – вразброс, да ещё и не в ту сторону...

В такие минуты хочется Пушкина почитать. К примеру, вот это: «В глуши, во мраке заточенья тянулись тихо дни мои без божества, без вдохновенья, без слёз, без жизни, без любви». Из «Полтавы» временами нравится: «Так, своеволием пылая, роптала юность удалая, опасных алча перемен».

Было – подступала вдруг фантазия не вознестись, а опроститься: сбросить надоевший шлафрок³ (пóлы в ногах путаются), надеть заплатанные холщовые портки, холщовую же рубашку распояской, подвязать истоптанные лапти и в таком вот затрапезном виде явиться в людскую – с конюхами Проклом и Дементием пить водку и заедать её редькою или квашеною капустою... – ах! – вот даже и теперь слюнки потекли, вот уже и за ушами не без приятности зашекотало! – а потом, не чинясь, резаться с ними в карты, в те же дурачки, и намеренно проиграть каждому по полушке⁴, а то и по алтыну⁵. Лучше, конечно, по гривеннику, да тогда уже понимал, что никак нельзя: этому выигрышу прямая дорога – в кабак; да и негоже дворню шальными деньгами баловать.

Было: намечешься между желаниями, раздёрнешь себя на лоскуты, – да вдруг и надрызгаешься до состояния скотского... А потом упадёшь пред иконами, впечатаетшь лоб в наборный паркет, вскричишь истово: «Грешен, смраден я, Господи!» И, лбом настучавшись, взмолишься: «Накажи мя, Господи, накажи!»

Настоишься на коленях, отобьёшь поклонов несчётно, надышишься ладану – и, вот оно, просветление, снизошло... Так на душе становится хорошо, инда молебны петь хочется, не думается ни о чём, лишь одна мысль душу тешит: «Эх! вот так-то бы всегда жить – в тиши, в благодати, умиротворении с жизнью и самим собою! И почему же я, неразумный, раньше не догадался так жить?!»

А как встанешь с колен – сызнава мечешься...

....Это – прошлое; а в сегодняшней жизни вообще ничего не разберёшь... Возьмёшь в руки «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»⁶, примешься читать первый пункт, где сказано: «Крепостное право на крестьян, водворённых в помещичьих имениях, и на дворовых людей отменяется навсегда в порядке, указанном в настоящем Положении и в других, вместе с оным изданных...» – и сразу болотная муть в глазах...

...На философические раздумья потянуло... Знать, голову напекло...

...Открывать глаза или погодить?..

...Приказать Дементию заложить тройку, да соседу, приятелю моему, вдовцу, отставному поручику Евграфу Иринарховичу, визит сделать? До его усадьбы в селе Золотые Сосны ехать всего семь вёрст – недалёко; заодно уж и овсы посмотрю.

Нет, лучше будет, ежели не поеду: он, оправдывая свою фамилию (не зря его предки, дети боярские⁷, Бессовестновыми прозывались!), из одного лишь пустого озорства или дурного расположения духа гуся в сметане на стол не поставит, а примется потчевать подгорелыми

котлетами или тем, чем оставшихся у него дворовых кормит, – теми же вчерашними постными щами. Брр! А потом картами увлечёт, – это дело известное! Лет десять тому назад меня вот так же заманил, да сто двадцать восемь рублей и выиграл. Пусть проигрыш и ассигнациями⁸, – для кармана это не разор, – но вместе с тем как-то оно и того... досадно. И ведь, наверное, с картами шельмует! Не может отставной поручик не шельмовать! Пусть мне как угодно возражают! Меня не убедить; я самому губернатору в глаза скажу: не может-с!

Чем славен Евграф Иринархович, так это табаком и наливками.

«Табак у меня – турецкий!» – любит, не похваляясь, произнести при случае. И, кажется, не лжёт: помню, ежели по рассеянности вобрать в грудь дыму более чем надобно, так и не удержишься, кашлянёшь...

А ещё он имеет обыкновение подать впервые оказавшемуся в его доме гостю любезно раскуренную трубку со словами: «Угощайтесь, милости прошу! Да заодно уж и табачок оцените». Тут все собравшиеся начинают перемигиваться и приуготовляться к предстоящей потехе... Взявши трубку, гость с преважным видом глубоко втягивает в себя дым – и так и закостеневаёт... После глаза его закатываются под лоб, весь он мучительно краснеет и, трепеща членами организма, пытается сдержать напористо просящийся из груди кашель, – да куда там! И вот гость роняет трубку, хватается за грудь и, вылезши в пространство очумевшими глазами, издаёт первый звук, сравнимый с хрипом бесящегося от злобы цепного кобеля. Остальные звуки напоминают какофонию, чудно составленную из раскатов грома, частых ударов в днище пустой бочки и грохота барабана размером с обеденный стол. Собравшиеся прыскают со смеху, а иные, – особливо те, кто сам побывал жертвою табачного угощения, – хохочут, покуда несчастный гость брызгает во все стороны лёгочными мокротами...

Разумеется, сии злые шутки Евграф Иринархович прodelывает с гостями, не имеющими в нашем захолустном уезде⁹ (его не так сразу и разыщешь в нашей вятской глухомани), достаточного весу, то есть мелкопоместными и однодворцами¹⁰, коим обижаться дозволено исключительно про себя, а не вслух. Один такой гость, из молодых и малопочтенных, правда, позволил себе высказывание, но с приличествующим его возрасту и состоянию достоинством, и даже не без изящества: откашлявшись, он с улыбкою обратился к хозяину: «Да вы, сударь, похоже, в табак порох кладёте?» – и с того же часу прослыл как человек и воспитанный и острословный.

Что касемо наливкок... О, здесь можно долго вспоминать и смеяться!

Нередки были случаи, когда гостей, соблазненных видом и разнообразием наливкок, кои криводушный хозяин громко аттестовал как «этакие сладенькие да некрепкие и девицам пригубливать можно», после четвёртой перемены свечей дворовые (для пущей важности именуемые лакеями) с бережением, под руки, уводили в отведённые для них комнаты и возлагали на постели. Иных, уже безвольных и безгласных, относили туда же следующими способами: раздобревших телом – взявши за руки и за ноги, отощавших – возложив на широкое мужицкое плечо. Гости попроще ухватывали за подмышки и безо всякого бережения отволакивали к тем диванам или креслам, на которые указывал перстом неколебимо стоящий на ногах хозяин (по его же признанию, как ему это удаётся, решительно не понимает). С гостями самыми простыми, преимущественно звания разночинного, так и вовсе не церемонились: сваливали их вповалку на медвежьи шкуры, загодя разостланные вдоль стен обеденной залы.

Отвечая на вопрос, хорошо ли вчера потчевал Евграф Иринархович, любому из завсегдатаев бессовестновской усадьбы (им был и я в своё время) достаточно зажмуриться, надуть щёки, перекосить брови или изобразить на своём лице любое другое выражение, и, как бы утопая в приятнейших воспоминаниях, промолвить: «Ах, как славно выпался!» – и всякий понимает: стол украшали: горы жареных гусей, куриц и цыплят, блюда с всевозможною речною рыбою, от громадных волжских стерлядей до незначительных, но не менее вкусных мест-

ных язей, говяжьего холодца с высокою «дрожалкою», облитую презлою горчицею, а также неисчислимые холмики паюсной и зернистой икры, неперенные молочные поросята, умопомрачительные расстегаи с налимьей печёнкою и копчёные окорока, пироги и пирожки мясные и рыбные, заливное, стопы блинов лёгких, молочных, с икоркою, с двойным припёком, суфле из грецких орехов и чудовищной величины марципаны, апельсиновое желе, бесчисленные пирожные и завернутые в красивые бумажки городские конфеты, янтарная халва и зелёные и фиолетовые гроздья винограда, теремами и башенками – что-то липучее и сладкое, и прочая восточная роскошь, в нашем уезде нигде, кроме как в доме Бессовестнова, немислимая; и, конечно же, все эти гастрономические и кондитерские вкусности, коими можно было бы накормить средней величины деревню, гостями были обглоданы до последней косточки и подобраны до последней крошки, а наливки, из-за нехстати приспевшего помрачения сознания, так и остались недопробованными.

Нравы в доме Бессовестнова замечательно хороши своею холостяцкою свободою, и, право же, либералы нашего уезда, – все, как один, обременённые семьею нехлебосольные трезвенники, – напрасно утверждают, что от нравов этих довольно чувствительно наносит дохристианским душком. Злобствуют; больше нечего добавить.

Евграф Ириархович телом худ – и всегда был не толще верёвки, – но закусить любит, оттого ещё в благодатные помещичьи времена завёл себе повара всем на удивление. В уезде поговаривают, что повар этот (имя – Антипка, прозвище нецензурное) сноровист настолько, что может любую сорную птицу, ту же сороку, так искусно приготовить – даже и не спяну за фазана сочтёшь. Да что сорока! Рассказывали, как после объявления царского Манифеста «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей»¹¹ и мгновенного потрясения уездных умов, не одних лишь дворянских, а и прочих сословий, Антипка изловил бродячую собаку и приготовил из неё начинку для кулебяки (не иначе как по наущению своего барина: сам не осмелился бы). Злодейство открылось нечаянно: один из гостей, отлучившийся на задний двор по благородной надобности (опорожнить, по примеру римских патрициев, переполненный желудок), увидел на помойке отрубленную собачью голову и лежащие неподалёку от неё внутренности, несходные ни видом, ни тем более размерами с говяжьими или свиными.

Не знаю, так ли было, да и не верю, что и было. Но, бывая у Бессовестнова в гостях, отведываю те кушанья, genesis¹² которых знаю или предположительно, или с уверенностью, достаточной для оставления всяких сомнений. Например, ту же шуку с налимом не спутаю, или, скажем, зацепляя вилокoу рыжик, знаю, что это именно он, а не мухомор, ряженный под рыжика плутом Антипкою.

Намедни Евграф Ириархович угощал оленьими отбивными; я из осторожности не кушал: не конина ли? С Антипки станется!

Да что это я всё про Антипку! Вот влез же, окаянный, в голову!..

...От духоты ни о чём думать не хочется...

Ладно, открою глаза: не на облака, так на птиц погляжу.

Глава II

От виска к подбородку и обратно неспешно бредёт шмелино жужжащая в облаках снежной пены бритва «Gillette».

«Что за чепуха приснилась сегодня ночью? И если это была чепуха, то почему с такими подробностями? Как зовут капитан-исправника – помню, как зовут отставного поручика – тоже помню, и даже знаю его характер и привычки, и какую сумму ему проиграл... Забавно! Но особенно забавно знать о деталях, во сне не увиденных, – те же попойки в доме Бессовестнова... События во сне, если считать с момента отмены крепостного права, – полуторавековой давности, может, и меньше. Интересно, что последнее время я ничего о том периоде не читал, фильмы тоже не видел. В карты на деньги играл... когда же, да когда же это было...»

Отставив бритву, он, бессознательно притопывая босой ногой по холодному линолеуму, устилающему пол кухни, мысленно перебирает залежи прошлых лет. Удивляется:

«Да лет тридцать назад, не меньше, вот когда! Был я тогда пацан сопливый и совсем ещё безмозглый: втянутый во взрослую игру, проиграл сумму, – по счастью, небольшую, – советскими ассигнациями... Но всё это ерунда, всё это было так давно, что словно бы и не со мной... Спрашивается, из каких высот памяти или воображения всплыл этот загадочный сон?»

Постояв в недоумении с полминуты, он, спохватившись, – время поджигает, этак и на работу опоздать недолго! – наспех выбривает подбородок и принимается тщательно выскабливать рыжевато-седую щетину из уголков губ, уже начинающих обвисать рельефными, неприглядными складками. «Старею, чёрт возьми, старею...» – морщится на своё отражение в зеркале, набирает в ладони воды, плещет в лицо, смывая пену. Вытираясь, ловит себя на шальной мысли пересказать сон сотрудницам своего отдела – и невольно усмехается в толстую, полосатую, пахнущую цветочным мылом полотенечную ткань: они любят пересказывать сны – короткие, бессюжетные, им самим представляющиеся содержательными, наполненными загадочными недомолвками и мистическими подсказками грядущих событий. Поэтому его сегодняшний сон наверняка сочтут за выдумку или попытку розыгрыша, ничему из им рассказанного, конечно же, не поверят, а то и, чего доброго, обидятся так, как умеют обижаться одни только женщины: из-за бог знает какой невинной словесной шалости поджигают губы, мечут глазами гневливые молнии, слова не произносят, а с непередаваемым высокомерием процеживают сквозь зубы... Ну да бабий террор не страшен, но он невероятно утомляет, давит отсутствием всякой, даже и тривиальной логики, суетной мелочностью, безбрежным цинизмом и «высокой», взлетающей до высот артистизма, стервозностью, поэтому, если работаешь рядом с женщинами, следует придерживаться немудрёного правила социального меньшинства: не стой на дороге, помалкивай, не возражай, улыбайся, – иначе носить тебе шкуру, исполосованную их шершавыми языками до кровоточащих, незаживающих рубцов.

Инспектору Юлии Петровне, женщине средних лет, неприметной ни простоватым «деревенским» лицом, ни сухопарой фигурой, в народе именуемой «доска доской», ни смирным характером, придавленным семейными неурядицами и проблемами, непрестанно случающимися то с хулиганистыми детьми-подростками, то с мужем (стеснительным, молчаливым, в трезвом виде незаметным даже в самой бесцветной компании, во хмелю крикливым, дерзким и наглым деспотом, легко пускающим в ход мосластые кулаки), снились даже и не сны, а разрозненные «картинки», не желающие быть помещёнными в логически истолковываемую «панораму».

Каждое утро, раскладывая на столе бумаги, она тихо говорит: «Сегодня видела во сне творог» или: «Картошку во сне копала».

Коллеги интересуются подробностями: как именно она видела творог или картошку, много ли видела, свежий был творог или старый, наложен был в чашку или таз, крупная была во сне картошка или мелкая, какого она была сорта, грязная или чистая, и прочее.

– «Андретта» была, обычная «скороспелка», или непонятно какой сорт? – лениво, не показывая своей заинтересованности таким пустяком, как сновидение младшей по должности, допытывается старший инспектор Нелли Германовна, женщина ещё не в годах, огрузившая, но не расплывшаяся, с добродушным, приятным лицом, слегка подпорченным неизменным флегматическим выражением в глазах, в каждом деле отдающая предпочтение, прежде всего, размеренной упорядоченности в действиях, а потом уже практическому смыслу. – Вспомните, картошку в ведро ссыпали или в подполье?

Юлия Петровна задумывается.

– Не помню – куда...

– Картошка была жёлтая, розовая или красная? Порченная не попадалась? – бойко спрашивает практикантка Светлана (она едва миновала пору подростковой угловатости, потому отчества не заработала), хорошенькая худышка двухметрового роста, замеченная в пристрастии к коротким юбкам, наивной откровенности и детализации всего и вся, – качествам, для работы отдела бесполезным.

– Не знаю... – шепчет Юлия Петровна, растерянно оглядывая коллег пуговичными глазами с навеки застывшей в них покорностью судьбе.

– Да как же вы не разглядели?! – поражается Светлана, звонко шлёпая ладошками по своим голым костистым коленкам. – Цвет во сне – это очень важно! Ведь вам же передавали ясную подсказку, а вы её прозевали! Да я бы на вашем месте!..

– Так как-то вот... не сообразила разглядеть... – начинает оправдываться Юлия Петровна прерывающимся голосом, и на её ресницах показываются слёзы.

Нелли Германовна, испепелив практикантку взглядом, громко утверждает, что творог и картошка – продукты полезные («Я тоже так думаю...» – робко вставляет Юлия Петровна), и к чему-то плохому снится никак не могут. Светлана торопливо с ней соглашается, добавляя, как бы между прочим, что главная роль во сне отдаётся символу, а не цвету, об этом все знают; творог и картошка как символы – самые что ни на есть благоприятные, так что в скором времени Юлии Петровне надо подждать какую-то прибыль, и это будет не зарплата, а, скорее всего, премия, – квартальная или годовая. Инспектор благодарно ей улыбается, светлеет лицом, вздыхает: «Хорошо бы...»

Некоторое время в отделе слышатся шорохи перелистываемых бумаг.

Светлана начинает нетерпеливо ёрзать в кресле (она последняя в очереди на пересказ сна) и многозначительно поглядывать на коллег, то ли позабывших утренний ритуал, то ли увлечённых работой.

Но вот Нелли Германовна откладывает документы в сторону, говорит: «А мне сегодня снилось...» – и, подперев румяную щеку пухлой ладонью, полузакрыв глаза, напевно пересказывает:

– Иду я по лугу, а он такой широкий, что конца-краю не видать... Трава высокая, но идти по ней почему-то легко... наверно, потому, что – мягкая, так и льётся, ноги в стеблях нисколько не запутываются... И цветов кругом меня – ну просто прорва... Растут по отдельности и, словно посадил их кто, маленькими такими полянками... Маки, васильки, гладиолусы – всякие цветы растут... Иду по лугу, иду, – а он не заканчивается, так в небо и уходит... А на небе – ни одной тебе тучки, а солнышко так и светит, и на душе так тепло, радостно... И тут я проснулась.

– Хорошие сны у вас... Мне бы такие хоть разок посмотреть... – говорит Юлия Петровна вздрагивающим голосом, без тени зависти.

Едва она успевает договорить, как Светлана сейчас же выпаливает:

– Вам, Нелли Германовна, цветочный луг приснился, а мне – речка!

Старший инспектор вынимает из папки документ, просматривает текст и сгрудившиеся внизу листа лиловые печати, спрашивает прежним ленивым голосом:

– И что ты на речке этой делала? Купалась, поди?

Светлана встряхивает коротко остриженными волосами:

– Нет.

– Загорала, значит.

– Нет.

– Бельё стирала? – неуверенно догадывается Юлия Петровна.

– Да нет же, нет! – удивляется Светлана их бестолковости. – Рыбу ловила!

Старший инспектор и инспектор, обе разом восторженно переглядываются, затем с живейшим интересом осматривают «макаронную» фигуру практикантки. Не замечая изучающих взглядов коллег, Светлана как можно шире разводит руки, азартно рассказывает:

– Вот такая громадная была!.. А к чему, кстати, рыба снится?

– Известно, к чему, – отвечает Юлия Петровна, а Нелли Германовна небрежным движением откладывает документ и, прищурившись, говорит ей:

– Да ты, Светка, не беременная ли...

Практикантка уставляется на неё непонимающими глазами и, вся вдруг вспыхнув, спрашивает:

– Как это?

– Обыкновенно, – отвечает ей Юлия Петровна с доброй усмешкой. Она питает слабость к фольклору, поэтому прибавляет: – Как говорится, бабёнка не без ребёнка!

Нелли Германовна смеётся, вздрагивая всем своим большим телом.

– В прошлом году, в начале лета, невестка рыбу во сне поймала, – вспоминает она, – а в этом, зимой, сына родила. А ну-ка, Света, вспоминай, поймала рыбу или упустила.

Светлана, утратившая прежнюю бойкость, вышёптывает:

– За жабры на берег вытащила...

Инспекторы переглядываются удовлетворённо.

– Вот теперь, голубушка, даже и не сомневайся – беременная! – торжественно объявляет Нелли Германовна трепещущей Светлане. – А рыба какая была?

Светлана часто-часто моргает глазами:

– Налим...

– Ну, стало быть, родится у тебя сын: я окуня поймала, невестка – тайменя...

Он не участвует в утренних «сонных» разговорах. Не из-за возможности на какое-то время отгородиться от неинтересных ему людей, – возможности, оберегаемой с тщанием, с каким не всякая собака оберегает свою конуру. И не потому, что это было скучно. Причина проста: однажды женщины уговорили его рассказать свой сон.

Тот рабочий день начался, как обычно: едва Юлия Петровна произнесла «Сегодня мне снилось, что я...», как он сейчас же занялся своими делами.

– Михаил Евгеньевич! Отзовитесь же! – услышал он настойчивый оклик и обернулся:

– Да?

Нелли Германовна глядела на него с любопытством:

– Мы тут говорили, что мужчинам дети не должны сниться... Ну, вроде бы как дети – не мужское дело... Правда, нет?

Он хотел сразу же согласиться с ней и прервать ненужный для него разговор, но, – бес, наверное, надоемил, – признался:

– Сегодня мальчика во сне видел. Маленького, лет трёх.

Женщины оживились.

– Надо же! – воскликнула Светлана и затараторила: – А как вы его видели? А на кого он был похож? А во что он был одет?

– Не трещи, Светка! – оборвала её старший инспектор. – Говорите, Михаил Евгеньевич, не слушайте её.

– Да ничего особенного во сне не произошло... – замялся он. Посмотрел на женщин, нетерпеливо ожидающих начала его рассказа, тоскливо подумал: «Ну зачем было говорить о мальчике... Сейчас набросятся – бесконечными вопросами мозг выклёвывать...» – и, вздохнув, начал:

– Снилось мне, что иду я по какому-то городу...

Невольно увлечшись, он со всеми подробностями передал, как шёл по бульвару незнакомого города, вёз за собой детские санки. На санках сидел мальчик, одетый в зимнее пальто, поверх поднятого воротника был повязан яркий, в красную и жёлтую клетку, шарф, на голове плотно сидела пыжиковая шапка с опущенными клапанами, на ногах были валенки, на руках – пушистые вязаные варежки.

Видел он этого мальчика впервые, и на кого тот был похож, сказать не может; пожалуй, что ни на кого. Как мальчик оказался на санках, куда он вёз эти санки по улице незнакомого города – загадка...

А в городе этом стояла весна: санки то легко катились по островкам утоптанного снега, то скрежетали полозьями по обнажившемуся асфальту; в воздухе особенно остро чувствовалась тяжёлая гарь выхлопных газов, хотя ни одной машины, – да и людей тоже, – на улице видно не было.

Улица была застроена одинаковыми квадратными кирпичными двухэтажными домами с равными, метров примерно двадцать, расстояниями между ними, засаженными тополями и акациями. Дома, отстоящие от дороги довольно далеко, метров на шестьдесят, были окрашены необычно: вперемешку в цвета тёплых и холодных тонов, от красноватого до голубого; преобладал, впрочем, цвет зелёный: так был окрашен каждый третий дом. Странно, что ни на одном доме он не увидел не только рекламных щитов, но и вывесок над непременными кафе и магазинами, – очевидно, эта улица была началом пригорода.

У него (во сне) вдруг появилось и окрепло чувство смутного припоминания этой улицы и этих красивых, уютных, как бы висящих над землёю в подрагивающем полупрозрачном мареве домов, но где и когда видел их, то ли наяву, то ли на картине или репродукции, вспомнить не смог.

Скоро дорога повернула направо и привела его во двор, прямоком к стоящей в его глубине сложенной из огнеупорного кирпича высокой безоконной будке. Стальная будочная дверь (монолитная, настолько мощная, что, кажется, с успехом могла бы выдержать прямое попадание бронебойного снаряда) была заперта на маленький круглый навесной замок с торчащим из него ключом. На середину двери была прикреплена не то большая табличка, не то маленькая вывеска, исписанная мелкими багровыми буквами, украшенными, как ему показалось, неуместными для вывески вензелями и какими-то дурацкими (он так и сказал женщинам: дурацкими) завитушками. Он помнит, что прочитал текст, но, когда проснулся, в памяти остался лишь незначительный его фрагмент: «...перерыв на обед с 13.00 до 14.00...».

Женщина, проходившая мимо, повернула к ним голову (лица её, полускрытого широкими полями сидящей чуть легкомысленно – вперёд и набекрень – франтоватой шляпки, он не различил), приостановившись, сказала раздражительно, словно ей давно уже надоело всем объяснять: «Ждите, они скоро придут!» – и свернула на петлистую дорожку, ведущую к бревенчатому домику, похожему на теремок, с высокой розовой двускатной крышей, стоящему отдельно, на пригорке.

Он не спросил у неё, кто такие эти «они», почему он должен их ждать и что представляет собой эта загадочная будка, похожая более всего на вход в бункер, и решил про себя, что, конечно же, можно открыть дверь (благо ключ оставлен в замке) и войти, но лучше всё-таки дожидаться появления неведомых хозяев.

И – проснулся.

Он замолчал, посмотрел на женщин. Юлия Петровна и Нелли Германовна озадаченно переглянулись – и каждая занялась своими делами, лишь Светлана раздумчиво поморщила лоб, протянула: «Да это даже и не сон, а какой-то фильм...» – и, вздохнув, спросила, часто ли ему снятся такие странные сны. Выслушав его ответ, что да, почти каждую ночь, почувствовала:

– Утром, наверно, думали, к чему вся эта чепуха снилась... Да, вам не позавидуешь!

– Почему же чепуха? – обиделся он, и Светлана воскликнула удивлённо:

– А мальчик на санках? Откуда взялся, куда делся – непонятно! Город, весна, будка, вывеска – попробуй-ка, догадайся, к чему всё это! Не сон, а солянка!

Он пробормотал: «Да, наверное...» – а сам подумал: «Боже мой, до чего же мне надоели ваши сны и вы сами! А до пенсии, страшно и подумать – больше десяти лет!...»

После этого разговора «сонные» беседы свободно обошлись без его участия, ранее при-
неволиваемого своею же собственной, никому не нужной, вежливостью.

Глава III

Ветер налетит, ударится в окна – и отскочит, поскуливая от обиды. Наберётся сил – и снова, в нетерпеливом желании ворваться вовнутрь дома, стукнет в его окна и стены властно, твёрдо, совсем как лихой или чиновный какой человек...

Шалишь, брат! Это тебе не в чистом поле дерева с корнем выворачивать или мужицкие жердевые сеновалы играючи размётывать: дом ещё – ого! – крепок, пусть и на целое бревно в землю вошёл; дедом вставленные рамы нигде не расшатались, не подгнили, стёкла венецианской работы стоят в них целёхонькими – дуй себе на здоровье!

Дом словно вымер.

Хожу из комнаты в комнату – нигде ни единой живой души нет, даже кошка Муська куда-то спряталась. Мимоходом в кабинет заглянул. Письменный стол дрогнул и вместе с кипами бумаг и чернильницею с гусиным пером развернулся в мою сторону, а канделябр ещё и укоризненно качнул бронзовыми, изрядно тронутой патиной¹³ головами: давно не виделись!

Невольно отшатываюсь...

И действительно, – не помню, когда за столом последний раз сиживал, перо в руках держал; на бумаге, поди, пыли уже больше чем на полпальца накопилось, а чернила, конечно же, давно высохли. Ну не могу я за стол сесть: всегда что-то мешает!..

Кресло – подумалось или привиделось? – вдруг закачалось и принялось поворачиваться ко мне, не то приглашая присесть, не то желая вплести и свой голос, скрипящий старою бычьєю кожею, в общий осуждающий хор...

Зажмурился от наваждения, дверь поскорее захлопнул...

Сегодня утром, – ещё не проснулся, как следует, ещё глаза не успел открыть – в голове вдруг явственно музыка раздалась. Прислушался... Так и есть! Увертюра к «Жизни за царя»¹⁴. Огорчился: она всегда к неприятностям звучит. Неспроста, значит, вчера прусак вспомнился!..

Примета не замедлила сбыться: кофий допивал, слышу – ветер подул. Сначала легонько так, порывами, потом всё шибче да шибче, а потом и совсем раздулся... Вот сейчас что-то особенно сильно налетел... Чаю, уже весь лоб себе расшиб, – ан нет, словно подгулявший мужик, никак не успокоится...

Интересно, следующая неприятность какую будет?

Чу! никак, скачет кто-то?..

Да, – кони уже у ворот храпят... Ну, накаркала опера!

Звуки – ближе.

Экипаж. И на рессорах: не грохочет, не скрипит, по земле аки по воздуху плывёт.

Пора и моей бричке рессорами обзаводиться. Уж который год об этом подумываю, да всё руки не доходят сие удобство заказать: то неурожай, то недосуг, то заново позабуду, то ещё что-нибудь...

В нашем уезде только трое помещиков чрево по-господски на рессорах нежат, остальные его не берегут, на наших ухабистых дорогах (или направлениях, по едкому выражению Наполеона), как простолюдинское, растрясывают. Интересно, кто из троих «неженки» в такую непогодь гостить припожаловал? Сам предводитель¹⁵ Длинноруков или соседи мои, – Забугорский или Зашпоренный? Возможно, но не весьма. Для первого соседа я птица малая, вовсе даже и

необразованная: Пётр Спиридонович в разговоре любит как будто бы нечаянно примолвить: «В молодые годы я посещал и обе доблестные столицы наши, и Европу; захаживал не токмо в рестораны, но и во всякие тамошние университеты. Так-то, батенька!»

Я тоже в столицу наезжаю. Правда, губернскую, – ну так и что ж? В гимназии учился, в театре по случаю бываю. Кроме журнала «Искра» газету «Московские ведомости»¹⁶ выписываю. Дальше городской заставы заглянуть мне ещё не довелось, но ущербности от того не чувствую. Так-то, дражайший Пётр Спиридонович! А вы – в уезде говорят – никак первый номер «Русского Вестника»¹⁷ прочитать не можете. И ещё близко знающие вас люди рассказывают, будто бы вы, кое-как две его страницы по складам осилив, уже не можете вспомнить содержание первой и потому вынужденно ворочаетесь к началу. Две журнальные страницы двадцать лет читаете! Стыдно-с!

Что-то сердце нехорошо заколотилось... Ах, напрасно после кофию – по рассеянности две большие чашки выпил – ещё и Петра Спиридоновича вспомнил!

Для второго соседа, штаб-ротмистра в отставке Евгения Владиславовича Зашпоренного, я неинтересен. Как сам он, так и не отставший от гусарских молодецких замашек, и по этой причине поочерёдно пребывающий в обстоятельствах то лёгкого, то бодрого подпития, мне не однажды и с неудовольствием высказывал, «прежде всего, твоею, сударь, трезвостью, для многих в нашем уезде просто возмутительною, а для меня – так ещё и порочною».

Терплю ротмистрскую прямоту. А что делать? Не на дуэль же его вызывать? Ведь для него это будет не дуэль, а самоубиение: у Евгения Владиславовича от непрестанных и неумеренных возлияний руки подрагивают так приметно, что, ежели ему выпадет стрелять первому, от собственной же пули, бедняга, и пострадает.

Ага, подковы уже под окнами забренчали...

Может, преставился кто? Тот же Длинноруков. В уезде уже поговаривают: наш Лев Лукьянович умом совсем ослаб – ни дряхлые лета свои, ни службы своей дворянской, ни даже царя-батюшку не помнит.

И ведь правда. Недавно оконфузился: на земском собрании¹⁸ говорил, как всегда, долго и гладко, как по писаному, – да вдруг и призвал быть верным долгу своему и императору Александру I Павловичу¹⁹. Ему зашептали: «Второму, второму Александру-то...». Лев Лукьянович шёпот не расслышал, и вовсе понёс околесицу, что, мол, крестьян за дурные поступки в Сибирь ссылать не следует, дабы, как он тут же разъяснил, «земля не обезлюдела, а ставить их, подлых, в батоги». Здесь не токмо либералы, но и ретрограды смутились: телесные наказания высочайше отменены!

Одним словом, недоумевающее собрание воочию увидело и конфуз и фиаско власти не предержащей, так земской... Тьфу! Не по душе мне это словечко из путаной истории нашей! Земская изба²⁰ – куда как к слуху ближе.

Может, царский указ какой вышел?

А ежели это не указ, а война? Так не с кем вроде бы воевать, да и, как обнаружилось, к стыду и позору нашему, что уже и нечем... Европа, ошалевшая после выгоднейшего для неё Парижского мира²¹, не обращая более внимания на полудикие русские орды, сама свои политические блюда стряпает, солит и перчит; турки со шведами как умерли, да и персы что-то тихо сидят... Нет, война не должна случиться.

Дверь грохнула.

Шаги.

Однако же, кто приехал?

Кажется, это она, с утра ожидаемая неприятность, оказавшаяся высокой, тучной и обмундированной: капитан-исправник собственной персоною. Вошёл неспешно, с видом несообразно его полицейскому званию значительным, от всех и вся независимым.

Удивительно...

В кресло не присел, как всегда, с краешку, а, не спрашиваясь, плюхнулся в самую его гобеленовую середину; ногу на ногу, руками при этом помогая, побряхтев, закинул; развалился вольно, словно на садовой скамейке; передохнувши, вынул из кармана тряпку, большую, клетчатую, в пятнах; развернул, распаренную физию вытер, скомкал тряпку в кулаке и сунул обратно в карман...

А вот это уже поразительно! *Mauvais ton*, сказал бы я, то бишь, дурной тон.

Усы вздыбил, отчего они сделались удивительно прусачьими, по резным кресельным подлокотникам жирные пальцы разбросал (грязь под ногтями, как всегда, не вычищена), глазками вперился...

Глазки у него особливые: по причине отсутствия подвижности и живого блеску схожи с мутным голубым французским фаянсом, и ежели какой комар вздумает уколоть капитан-исправничий глаз, то хоботок, к превеликому комариному удивлению, лишь скользнёт по непроницаемой поверхности, принятой обманутым кровососом за обычную плоть, то бишь человеческую...

Что это он смотрит на меня, словно пронзить пытается? Не арестовывать ли приехал?

Сейчас зажмурюсь – и снова глаза открою...

Нет, не исчез Онуфрий Пафнутьевич! Вот он – предо мною посиживает, наваксенными сапогами блещет, шпорами персидский ковёр дерёт, усами шевелит во все стороны: говорит что-то...

«Погода!» – говорит. И ведь откуда-то взявшимся басом, а не дребезжащим баритоном, как третьего дня – «Погодка-то нынче какова!»

Что-то случилось. Архиважное. Архиепохальное. И я об этом ничего не знаю! Надо его порасспросить. Начну-ка я издалека, – с экипажа, на котором он прикатил: чей?

Оказывается, его собственный. Вчера приобретение сделал.

Так-так-так... Поздравляю; заодно осведомляюсь, в какую сумму обошёлся экипаж.

Ах, недорого! Очевидно, экипажи подешевели со вчерашнего дня... А лошади?

Ах, это не лошади, а рысаки! Ин-те-ресно!.. И это в нашем уезде, где одни лишь крестьянские клячонки с одинаковою безропотностью влечат по свинцовым хлябям что дровни с соломой, что помещичьи брички! Откуда же взялись вдруг рысаки и, кстати, почём они на базаре?

Так-так-так... Из калмыцких степей пригнали рысаков, и не на базар, а прямиком на исправничий двор; цена умеренная; и лишь потому, что, оказывается, «инородец в быту чрезвычайно неприхотлив, для него десять рублей – состояние, и просто удивительно, как он может в продолжение месяца жить на этом, в сущности, подножном корму, и питать своё многочисленное прожорливое семейство; ну, да ведь ему траву покупать не нужно».

Вон оно как! О-очень интересно!

Надо прекратить расспросы – перевести дух.

Этот Онуфрий Пафнутьевич лжёт, как губернская газета: ну откуда у него мог появиться капитал, на который можно купить все рыдваны, тарантасы и брички нашего уезда? Давно ли он плакался о крайней стеснённости в средствах и, принимая в руку десять рублей, благодарил не унижаясь фигурой, но с униженным достоинством в фаянсовом взоре?

Но не это сейчас меня занимает. Собственный выезд не даёт ему повода тыкать смрадными сапогами в лицо мне или любому другому, а, значит, есть повод куда весомее... Но откуда же взялся этот повод – вот что меня мучает!..

Что ж, начну расспрашивать совсем уж издалека.

Весною в нашем уезде предстоят очередные выборы капитана-исправника... Не решится ли Онуфрий Пафнутьевич, зарекомендовавший себя положительным служакою, ревностным, нерассуждающим, не сомневающимся в гениальности повелений начальства, баллотироваться на четвёртый срок? Не потребуется ли ему прежнее расположение заинтересованных лиц, принимающих участие в голосовании, равно как и прежняя снисходительность губернских чиновников, – снисходительность, берущая своё лояльное административное начало исключительно из уездного расположения?

Не решится. Никогда более. И расположение ему никогда более не потребуется.

Вот как!!!..

В голове занемогшим гиппопотамом взрыдал рояль и густой бас печально заревел:

«Дости-иг я вы-сшей вла-асти! Шестой уж год я царствую споко-о-йно!»²²

Показываю, насколько это возможно, пустое отношение к сказанному, а сам понимаю: отказ баллотироваться сравним по своей ошеломляемости разве что с пушечно прозвучавшим несколько лет назад известием о скором прибытии грозного губернатора Чернил-Пергаментского, вознамерившимся, как было тогда официально объявлено, «проследовать через *** уезд по казённой или иной какой надобности».

Дворянское общество, взволнованное предстоящим визитом губернатора, обратилось к своему предводителю за распоряжениями.

Как сейчас помню, Лев Лукьянович не оторопел от страшного известия, а лишь нахмурил седые брови – и тут же во всём блеске явил мощь старой административной школы: дорогу, удостоенную чести принять на себя колёса губернаторской коляски, крестьяне, в спешном порядке оторванные от пахоты и вообще от всякой другой своей работы, за один световой день посыпали просеянным речным песком; заросли крапивы, несколько оживлявшие её обочины, а заодно и окрестности, выкосили подчистую; плетни сплели новые, заборы подновили и вымазали белоснежною извёсткою; избы, имевшие вид нерадостный или непочтительный, разобрали и печей не оставили, а образовавшиеся пустоты засадили кудрявыми берёзками. Во все лавки, находящиеся на пути проезда губернаторской коляски, безотлагательно завезли чай в цибиках²³, связки баранок, конфекты и шоколад, пряники, ситец в горошек и сатин в цветочек, а также хомуты, подковы и гвозди всех размеров; на двери всех без исключения придорожных кабаков сами целовальники²⁴, смилившись с неотвратимую потерю своих доходов, навесили замки в виде казённых сургучных печатей. На дворянские и купеческие пожертвования были куплены и безвозданно розданы: бабам – платочки, мужикам – картузы, а музыкантам, кои нашлись в каждой деревне – гармошки с балалайками. Физиономии приказано было иметь праздничные, бороды расчесать, – одним словом, Лев Лукьянович убедительнейше доказал всем, а в особенности своим злопыхателям, что белые шары²⁵ на выборах ему преподносят не просто так, а истинно за одни лишь заслуги.

Проезд губернатора по уезду ознаменовался не одною лишь восхитительною погодою, обнаружившей желание прислониться к историческому событию, а ещё и повсеместным трогательнейшим единением представителя монаршей воли с верноподданнейшим народонаселением: бабы слаженно размахивали дарёными платочками, мужики – картузами; деревенские оркестры гремели неумолчно.

Прибыв в уездную столицу и разрешив извлечь себя из колясочного чрева (обитого, как заметили встречающие, атласною тканью невыразимо алого тона, живо напомнившего свежeproлитую кровь), Чернил-Пергаментский лучших представителей из дворян, купцов и прочих сословий, столпившихся на подметённой городской площади, окинул взором отнюдь не разящим, как трепетно ожидали, а уже размягчённым. Не побрезговав откусить от каравая, гра-

циозно преподнесённого ему красивейшею дамою (выбранной беспристрастно, по конкурсу; фортуна указала на осьмнадцатилетнюю Катеньку, внучку Льва Лукьяновича), он оборотился к самому предводителю, стоящему впереди всех встречающих, смотрящему ему в лицо прямо и мужественно, оглядел его почтенные седины и одинокий орден Святой Анны третьей степени с мечами на груди, и молвил: «Весьма!» Вернувшись в алое чрево коляски, откинулся на подушки, изволил самолично приказать кучеру: «Пшёл!». Кучер привстал на козлах, свистнул лихо, как и разбойнику не смочь, взмахнул плетью, хлопнувшей в обмершем воздухе с особенною, совершенно оглушительною выразительностью, какую ни прежде, да и после не слыхивали, – и через долгое мгновение губернаторская коляска, к всеобщему и неопишуемому облегчению, пропала за поворотом.

Эхма!.. Вот так вспомнишь прежние-то времена – и набежавшую слезу утрёшь...

Однако же, откуда или от кого Онуфрий Пафнутьевич набрался сумасбродной уверенности в ненужности ходулей, на коих он шагал продолжительно и размашисто – и дошагал-таки до собственной рессорной коляски? Может быть, из этих... как их там... да, – социалистов (говорят, в городах появились такие; чего хотят, сами не знают и другим растолковать не могут)? Да нет же, ну какой из исправника социалист...

Может быть, с утра уже во хмелю? Нет, не похоже...

Ну, стало быть, не в своём уме, ежели отвёртывается от нашего расположения!

Нет, он нормален: в его глазах нет безумного блеску, они прежние – недвижимые, пронзительные, и от его свекловичной физиономии так и задувает торжествующим превосходством, нередко присущим вчерашнему холопу или нуворишу, нередко одному и тому же человеку...

Капитан-исправник снова что-то говорит: его усы извиваются, подсказывают, словно отплясывают трепака. Смотреть – смешно, гадливо; к горлу подкатывает горячий ком; чего доброго, на ковёр вытошнит...

Газеты надо читать. Так и выпалил!

Кажется, лицо моё перекошилось...

Исправничьи прусацьи усы отпрыгивают от наростообразного носа, вдавленного природою в щёки, к оттопыренным ею же плоским безмочковым ушам, отверзшиеся уста обнажают редкие жёлтые зубы – и мой визави заходится рыдающим хохотом, удивительно схожим со счастливым ржанием крестьянского коня, улизнувшего из-под надзора неопытных пастушков...

Да как эта полицейская лошадь смеет ржать в моём доме!

Аксельбант-Адъютантский вдруг замолкает. Наклоняется ко мне. Его пустые зрачки – изголодавшиеся аскариды – вскидываются, просверливают мою переносицу проворнее раскалённых пистолетных пуль и даже мысли...

Глава IV

...Не идёт из головы сон, и всё тут!.. И совсем не потому не идёт, что увидел его продолжение, чего прежде не было, и не потому, что не читал о подобном случае, и не из-за того, что не рассказывал никто ни о чём похожем... Слишком этот сон осязаемый, пугающе детализированный... Глаза закрою – и вот он, мой дом там, во сне, где я знаю расположение всех комнат – да что комнат! – я знаю, что живу в этом доме!..

...Вот сейчас я вдыхаю словно не этот душный пластмассовый, насквозь синтетический воздух, а пряные, кружащие голову кабинетные запахи из моего сна: свечного воска, чернил, кожаного кресла; локти опираются не на скользкий фальшивый сосновый шпон крышки вот этого канцелярского стола, а будто бы на плотный зелёный бархат, покрывающий мой старый письменный стол там, во сне; пальцы мои держат не ребристую невесомую пластмассу ручки «Erich Krause», а воздушную лёгкость гусиного пера, хранят в кладовых своей мышечной памяти резвый бег его отточенного кончика по тяжёлой, словно бы прессованной, кремовой бумаге...

...Откуда же я всё это помню? Чудно, непонятно...

...А почему я знаю: ежели даже сквозь стон ветра донеслись вдруг бубенцы, значит, коляска уже обогнула рощу (покуда она рощу не объедет, бубенцы и в безветрие не услышать) и катит по дороге к дому...

...Спрашивается, откуда же я это знаю, ежели рощи во сне не было? И ведь дом и роща – это не сон, не воспалённость воображения, а самая что ни на есть реальность! И рыжики россыпями на самой опушке, и грузди грядами, ежели зайти в рощу поглубже – тоже не воспалённость, и Онуфрий Пафнутьевич со Львом Лукьяновичем, и Бессовестнов с Антипкою, и все другие прочие – это не досужий вымысел мозга, заскучавшего от бесполезного бодрствования в спящем теле, а такая же явь, как, например, я сам, сидящий вот за этим столом...

...Так-так-так... Сдаётся мне, что во сне один только вымысел – это я сам собственной своей персоной.

...И вымысел потому, что...

– Что это вы, Михаил Евгеньевич, сегодня задумчивый какой-то?

Гласные и согласные звуки воспринимаются акустической мешаниной, доносящейся словно бы не от соседнего стола, а откуда-то издалёка...

– Михаил Евгеньевич!

Отдельные звуковые фрагменты слипаются в звукоряд, приобретают пока ещё размытую отчётливость и относительную осмысленность: ммиаа-илл-ев-еньев-ввич!..

– Да что с вами?

Вами-ами-ами-мии... – музыкально плещется в голове.

Прикосновение к плечу заставляет его вздрогнуть.

– Что с вами? Не заболели? – Нелли Германовна заглядывает ему в глаза, пряча за участливыми словами неуёмное женское любопытство. – Зовём, зовём, – а вы молчите, и всё тут. Мы уже... – она оборачивается к Юлии Петровне и Светлане, словно призывая их в свидетели, – беспокоиться начали!

– Да-да! – дружно, разноголосно раздаётся в ответ.

Он смотрит на женщин непонимающе. «Сейчас главное – спастись от расспросов», – приходит мысль и он, ещё не зная, что сейчас будет им говорить, «наклеивает» на лицо ничего не значащую улыбку. «Импровизация – наилучшая тактика обмана», – вдруг озаряет его ещё

одна мысль, и он, изобразив на своём лице смущённую удручённость, рассказывает байку о микроволновке, купленной им якобы вчера незнамо для чего.

– Продавец, понимаете ли, упрямый, убедил, да заставил купить, можно сказать, – говорит он, словно оправдываясь, – бутерброды, рассказывал, горячие кушать будете. Особенно напирал на марку: «Самсунг!» – как будто она в современной глобальной унификации что товара, что человека что-то да значит, излагал весь набор затёртых рекламных воплей: «Дизайн! Сенсорные кнопки!» – и даже глаза закатывал. Ладно, подумал, возьму, а то ведь не отвяжется...

– И не говорите... – соболезнует ему Юлия Петровна. – Продавцы сейчас наглые, деньги из рук так и выхватывают! И не хочешь, так купишь какую-нибудь ерунду...

– Утром решил позавтракать не как всегда, – продолжает он рассказывать (умалчивая, что завтрак «как всегда» состоит из первой сигареты, выкуренной натошак до чашки чая, второй сигареты после неё и третьей по дороге на работу), – а по европейскому образцу, но положил на хлеб всё сразу – и масло, и колбасу, и сыр. Таймер на микроволновке поставил на три минуты, чтобы погорячее получилось.

Женщины впиваются в него круглыми глазами. Довольный произведённым эффектом, он продолжает импровизировать:

– Пошёл бриться. И только, представьте себе, щёки пеной обляпал, как слышу – запах по квартире пополз... Я – к микроволновке!.. А там – ужас! (Он затаивает дыхание.) Бутерброд – всмятку... (Он зажмуривается, прижимает к вискам кулаки, говорит голосом глухим, прерывистым.) Масло растаяло, через хлеб просочилось, по поддону разлилось, сыр расплавился, – кажется, даже кипел, – колбаса изжарилась до углей... Чад невыносимый! Глаза зашипало, потом зажгло, – слёзы так и полились... Как теперь из печки этот бутерброд выскабливать, не соображу... Короче говоря, утро было весёлое: мало того, что завтрак сгорел, так ещё и побрился второпях... – Видя, как на лицах коллег намечаются знакомые надменные гримасы, – мол, мужики, это дубьё стоеросовое, в домашнем хозяйстве ровно ничего не смыслят, вот и этот не лучше других: не додумался бутерброд на блюдечко положить, а блюдечко на поддон поставить; впрочем, ничего другого они от него и не ждали, – стискивает вздрагивающие сдержанным смехом губы, как можно горестнее вздыхает.

Нелли Германовна, вроде бы не слушавшая его рассказ, выговаривает негромко, как бы между прочим:

– Да, вот оно как, одному-то жить... и бутерброд-то приготовить некому...

И снова зарывается в папки с документами.

– Как вы правильно сказали – «некому»! – подхватывает её мысль Юлия Петровна. – Недаром говорится: красна изба углами, а хозяйка – пирогами, хозяйка в доме – что олады в меду! Вам, Михаил Евгеньевич, нужно жену в дом привести, вот что, а вы вместо неё микроволновку – железяку какую-то – на кухню приволокли!

Он улыбается беззаботно, отвечает:

– Женюсь, как только соседка пятиклассница подрастёт.

Не слушая разом взметнувшиеся игривые шуточки, снова уходит в себя.

...И вымысел потому, что я не знаю, кто же я такой... Да, именно так: фамилии не знаю, имени и отчества – тоже. Онуфрий Пафнутьевич разговаривал со мною так изворотливо, что умудрился, каналья, обращаться ко мне сугубо индифферентно, то бишь, на «вы», но это ничего не означает, ведь и я тоже без его имени-отчества обошёлся, и, надо сказать, преловко. Получается – побеседовали два имярека...

...Видел в зале картины: несколько наивных пасторальных пейзажей, отдельной группой развешаны портреты – писанные маслом лоснящиеся персоны в лентах и кружевах, втиснутые в тяжёлые резные рамы, потемневшие и будто занавешенные паутинами кракелюр²⁶, и аскетические небесноокие лики, выведенные на досках, по левкасу²⁷, поэтому на изображениях

нет трещин, – но вот кто именно изображён, не ведаю. То есть там, во сне, мне, конечно же, ведомо, предки мои на портретах представлены или же известные в своё время «исторические личности», вроде аглицких лордов, французских баронов или фряжских богомазов, а вот в этой реальности – нет.

В третьей серии сна надо узнать, кто это на портретах намалёван. Но у кого спрашивать, ежели во сне с одним лишь исправником встречался? Разве у него самого поинтересоваться: ответствуй, господин исправник – кто я такой? а вот на этих портретах, написанных безвестными предтечами сюрреализма – кто такие? Так, что ли? Ха-ха!..

...Странно, почему во сне дом пустой. Весь его прошёл, но ни одной живой души так и не встретил. Где кошка Муська и прочие, кто должен быть в доме?..

...В кабинете – письменный стол, бумага, перо. Чем я занимаюсь? Журналист? Пописываю в уездную газету, какую-нибудь «Орало землероба», статейки по аграрному вопросу, что-нибудь вроде «О несомненной пользе навоза для наших суглинистых почв»? Сомнительно... Писатель? Ну, это едва ли: в уездах в основном графоманская публика процветает: мрачная деревенская скука подобному «творчеству» немало способствует. Значит, я графоман... Не хотелось бы!

Ага, о бумагах очень даже кстати вспомнилось: надо будет в них заглянуть, – так, из праздного любопытства: что же я такое пописываю?

А ещё я не знаю, как называется уезд, знаю лишь, что находится он где-то в вятской глуши. Впрочем, мне это всё равно; а если употреблять новорусские фразеологизмы, обеднённые идиоматическими и всякими другими возможными значениями, то можно сказать, например, так: да мне всё – по барабану...

...Что-то ещё не даёт покоя: так и ворочается, так и гвоздит в голове, словно кто-то тонкими ледяными пальцами на полушария надавливает, – вот на левое надавил, вот и на правое (отчего немедля нарастает разноголосица в мыслях), а вот и на оба сразу, отчего крохотное солнце разума, дремлющее в самой середине мозгового вещества, озлившись, начинает выплёвывать длинные раскалённые протуберанцы.

Лицо!! Я не видел своего лица!!!

В зале стоит трюмо (старинное, громадное, из карельской, вроде бы, берёзы), и стоит со времён незапамятных: видело младенцем не токмо меня и папеньку, но и папенькиного папеньку тоже. Когда я прохожу мимо этого трюмо, то даже краем глаза стараюсь не смотреть в зеркало, где – знаю – отражаюсь в полный рост. И проделываю это не из-за глупых суеверий, а просто потому, что не люблю на себя глядеть, и даже бриться привык на ощупь. Девка Парашка, зная... Стоп! Какая ещё девка? Откуда она взялась?

Так-так-так... А-а, вспомнил! Парашка – дворовая; то бишь, бывшая. Как и всякая другая молодлица, окончившая полный курс дворового университета, она врождённая ленивица и хитрунья: зная мою нелюбовь к зеркалам, раз или два в месяц протирает трюмо от пыли, а до самого зеркала ни за что не дотронется: не требуют – ну, стало быть, и тряпкою размахивать незачем. И ежели мне вступит вдруг в голову подойти к трюмо – посмотреть на себя, так, чего доброго, из непроглядной от пыли зеркальной глубины чёрною тенью выметнется призрак, обряженный в срамные одёжи, с расписною, как у полинезийцев, кожей лица и рук, с перстнями в ушах, ноздрях, губах и – даже думать отвратно – на языке, или безумно закривляются, залягают ногами, захохочут небывало охальные, простоволосые фата-морганы...

Может быть, я призрак и есть? Брожу по дому, воображаю себя живым, а сам по рассеянности прохожу бестелесным туманом сквозь стулья, столы, горшки с геранью и толстенные, в два обхвата, брёвна стен? Нет, нет! Я очень даже хорошо помню: когда проходил мимо трюмо, в зеркале тоже кто-то прошёл (и ежели это было не моё отражение, так чьё же?), а, как известно, зеркало призраков не «видит» и не показывает...

...Странные у меня мысли!.. Словно бы я сейчас сплю... Это раздвоение сознания, вот что! Это надо же...

Голос отчётливо, осуждающе вычеканивает:

– Это надо же так убиваться!

«Кто это? Парашка?»

Второй голос (он тише, миролюбивее) добавляет:

– Подумать только... Из-за какого-то грязного поддона в микроволновке...

«Значит, я не сплю; я на работе».

Бумажный шорох. Шелестящий, присвистывающий на согласных звуках, шёпот:

– Я давно уже заметила... да-да... уставится в стену... глаза жуткие...

– Выйдешь замуж – ещё не то увидишь! – утешает чеканный голос.

Сопение, обиженное шмыганье носом:

– Вы, Нелли Германовна, мне не верите, а я правду говорю. И сны у него странные, он сам, помните, рассказывал...

«Больше ничего рассказывать не буду!»

– Ты, Светка, в документы смотри... куда дырокол задевала... степлер где...

Голоса раздробляются, откатываются, гаснут.

...Хочется забыть этот сон, да вот только как? И Онуфрий Пафнутьевич не даёт покою: зачем спешил-летел в такую-то непогодину – калмыцкими рысками побахвалиться? Знамо, он честолюбив, – что да, то да! – но здесь не этот случай, здесь явно другое устремление...

...Готов побиться об заклад – без исправничихи Альбины Ильиничны не обошлось!

Весь уезд знает: она, фигурально выражаясь, дёргает своего супруга за прусацьи усы, словно за вожжи, и за какой ус, левый или правый, она надумает дёрнуть, в такую сторону Онуфрий Пафнутьевич непрекословно и повернёт. Бывали случаи, когда исправник не просто знал от своих доносителей о фактах самого дремучего крепостничества, рядом с которыми «подвиги» Салтычихи казались безобидными проказами, а даже во всеуслышание объявлял о своём намерении «дать делу законный ход». Отлично помню, как он, блистая парламентским красноречием и обширною лысиною, заявлял о грядущем возмездии помещику такому-то и даже гневливо постукивал-помахивал волосатыми кулаками, и внимающее ему дворянское общество и прочее уездное народонаселение воочию видело пред собою ежели не трибуна, так покровителя и заступника. Иная баба, заслушавшись, умиленно всхлипывала: «Есть правда на земле... за все свои прегрешения барин-то ответит!» – «Услышал господь молитвы наши сиротские! Сказывали, скоро его в колодках, цепях, аки татя, в Сибирь поведут!» – гудел в бороду иной старец, на склоне дней своих дождавшийся справедливости, – а нашкодивший барин уже слюнявил трясущимися губами ручку Альбины Ильиничны и смиренно молил о заступничестве. «Не бойсь, дурак! И сопли утри, – ишь, распустил!» – сурово отвечала исправничиха, происхождения низкого, образования такого же, невежественность речей и манер счастливо заменившая лицом откровенно неприглядным, самовластным и решительным, голосом низким и грубым, какой бывает у людей чрезмерно курящих и пьющих, фигурой с необыкновенно мощными формами и, наконец, походкою настолько широкою, целеустремлённою, мужскою, что при появлении её особы многие людишки торопятся обеими руками сдёрнуть с головы картузы или шляпы. «Сказывай, сколько поголовья истребил», – прибавляла она уже мягче. (Надо отметить, исправничиха довольно метко именуется поголовьем без разбору весь народ.) «Да я... сами знаете...» – лепетал барин, трясущимися пальцами раскрывая портмоне, вынимая загодя вложенные в него кредитные билеты. (А я-то, простодушный, ещё удивляюсь, откуда у Онуфрия Пафнутьевича организовался капитал для покупки рысаков и рессорной коляски! Думаю, и конюшню уже приобрёл, и домик не в деревне.) «Очумел, дурачина, со

страху? Мне мужниного жалованья хватает! – возражала исправничиха, решительно отводя его руку... и нечаянно задумывалась. – Мне самой ничего не надо, ну, разве что дочери на приданое. А теперича иди отсель, – говорила она, по случайности или от рассеянности забирая кредитные билеты, пряча их в свой объёмистый ридикюль, – и косорылого моего более не бойся». Вскоре выяснялась ложность доноса, клеветника пороли, – словом, справедливость торжествовала. Один лишь народ ничего не понимал. «Эх, нет правды на земле!» – горько восклицал в кабаке иной подвыпивший мужичонка и уже заносил было над столом кулак, но, останавливаемый приятелями или зорким целовальником, вскоре веселился вместе со всеми как ни в чём не бывало и, проснувшись утром где-нибудь в телеге или придорожной канаве, уже не помнил своего вчерашнего вольнодумства.

Случаи беззастенчивого мздоимства и свирепого казнокрадства разрешаются таким же точно образом, к взаимному удовлетворению сторон, в особенности губернских чиновников и самого губернатора: *** уезд исправно платит подати, не доставляет хлопот недоимками и разного рода тяжбами, – следовательно, считается благополучным, вполне благонадёжным, а такой не грех и назначить как пример другим.

Что ещё вспомнить об Альбине Ильиничне, или Альбе²⁸ в юбке, как я её про себя называю? Пожалуй, как ловко она распределяет должности.

Система распределения должностей измышлена, конечно же, не самую малограмотную исправничихую, но она усовершенствована и доведена ею до такого высочайшего уровня и блеска, что простотою и эффективностью едва ли не превосходит конструкцию колеса: всякий человек, молодой или не очень, возжаждавший пристроиться на «хлебную» и нехлопотную должность, отнюдь не спешит обнаруживать свои таланты или хотя бы способности на поприще науки, искусства, торговли, либо на каком другом, а спешит приложиться к ручке Альбины Ильиничны. И, ежели проситель сумеет зарекомендовать себя понятливым, принадлежащим к кругу «своих» людей, то с этого же мгновения ни одной казённой бумаге, пусть даже и доставленной фельдъегерем, не тягаться ни скоростью передвижения по инстанциям, ни быстротою исполнения с указанием, отдаваемым исправничихиными устами. Указание выполняют в первую очередь те, кто был спасён исправничихой не от Сибири, так от нежелательной огласки, и те, кто ведаёт: быть может, завтра уже ему придётся прикладываться к ручке Альбины Ильиничны, пахнувшей не селёдкой и квашеною капустою (это нос так самовольно думает), а избавлением от сурового ревизора и ржавых кандалов – сладчайшим духом свободы... Короче говоря, вскоре исправничихин протеже является в присутственное место и, с видом надменным минув лавки писцов, усаживается где-нибудь сбоку на незначительный стул, после незаметно перемещается на стул пошире, с него пересаживается на стул уже мягкий и с высокою спинкою, и с него уже метит перепорхнуть в кресло самого столоначальника²⁹, и занимает-таки его (не без помощи, разумеется, вездесущей и всепроникающей Альбины Ильиничны, дальновидно организовывающей собственную лейб-гвардию³⁰). Отсутствие таланта – лучшая у нас рекомендация, и вот уже в губернской канцелярии исправничихин «гвардеец» усаживается где-нибудь сбоку на незначительный стул, после незаметно перемещается... И ежели в самой сиятельной столице нашей, самом Правительствующем Сенате, заседает тот, кто не откажется оказать Альбине Ильиничне протекцию, или даже не посмеет не оказать, – вот ей-богу, не удивлюсь! Как ни грустно осознавать, но именно исправничихи посредством гражданской трусости нашей умудрились не просто выстроить вавилонское здание российской бюрократии с вавилонским же столпотворением внутри оно, но и служат ему камнями краеугольными... В давно минувшие времена ещё находились смельчаки подойти к его стенам и, задравши голову, выкрикнуть слова злые или отчаянные, – а в ответ им на головы падали пудовые фолианты законов, приказов, циркуляров, инструкций... Расплющило смельчаков неисчислимое множество, и сейчас никто уже не отваживается не то чтобы крикнуть,

а даже и приблизиться к уродливому зданию, вытягивающемуся вверх как бамбук, этаж за этажом, украшаемому стрельчатыми окнами, готическими башенками и жуткими химерами³¹. Верхний этаж уже пронизал облака, и нет пушки, ядро которой смогло бы донестись до небожителей... Вот и я лишь думать об этом и смею, а вслух произнести – боже меня упаси! Трус я, ничтожество, подлое насекомое бескрылое – вот что я есть такое...

...Однако каким образом Альбина Ильинична вооружила своего недалёкого супруга так внушительно, что он уже не боится вотирования противу своей кандидатуры, что уже ничьё расположение ему не нужно?! А-а, да, да, ведь он говорил о газетах, – мол, читать их надо.

Газетную статью, стало быть, вооружён; а периодикой, как известно, можно не токмо муху прихлопнуть, но и человека заодно...

Глава V

Аксельбант-Адъютантский прищуривается, – зрочки запрятываются за припухшими веками, надзирают оттуда, предупреждая взблѣсывая лютыми очами, подобно парочке червеобразных Аргусов³², – язвительно улыбаясь, спрашивает:

– Удивляюсь вам! Всегда новости одним из первых узнаете, а тут вдруг в престранном неведении пребываете... Пассаж, да и только! День так задался или актёрствовать изволите?

Расположился, как у себя дома, хамит, словно арестанту, – надоед, терпения моего больше нет... Любопытно узнать, сколько лет каторжных работ отмерят за смертоубийство исправника, даже такого, как этот шут гороховый? Заседатели, думаю, не поскупятся: лет пятнадцать преподнесут.

Примериваясь, куда всадить пулю, разглядываю шишковатый исправничий лоб, исчерченный обозначающимися морщинами.

Лучше стрелять вот сюда, между куцых и как будто бы суровых бровей, аккуратно в складку – следствие не напряжённой работы мысли, а всего лишь отложение жира. Стрелять в центр лба – это театрально, а вот между бровей – это и красиво, и как будто бы пуля угодила туда случайно, и милосердно: мучиться не будет...

– Что это вы, Михаил Евгеньевич, меня разглядываете?

Спрашивает с отработанною грозой в голосе, а сам ёжится, ручками-ножками сума-тошится, и, не иначе как со страху, моё имя-отчество вспомнил... Вызвать его на дуэль, пристрелить как собаку; а стрелять лучше всего в грудь: дыра в голове ему не повредит, разве что от сквозняка ощутит некоторое неудобство.

– Я говорю, вы, Михаил Евгеньевич, как-то странно, хе-хе... на меня смотрите...

«Чувство опасности у него развито отменно! Однако довольно тешить себя душевною искренностью, пора переходить на язык увѣрливый, лживый – дипломатический», – думаю я, лениво поигрывая кистями пояса шлафрока. И говорю:

– Удивляюсь, отчего это вы, Онуфрий Пафнутьевич, неожиданно начали переоценивать значимость печатного слова. Мало ли что могут написать журналисты, особенно испытывая приступ творческого зуда, или, вернее сказать, горячки! Право, удивляюсь... Вы отличаетесь завидной проницательностью, умеете... а-а-ах!..

Я сладко зеваю, постаравшись прикрыть ладонью рот с рассчитанной небрежностью, ясно показывающей гостю: могу зевнуть тебе в лицо – невелика птица, стерпишь; ну, да ладно, прикрою зубы, так уж и быть. И договариваю:

– ...отделять правду от вымысла.

Аксельбант-Адъютантский бледнеет, оскорблёно вскидывается; сисясь выстроить фразу, бормочет: «Позвольте... позвольте же...» Вдруг его озаряет, и он почти выкрикивает:

– Официальное сообщение!

– Кажется, этот ветер пригонит ненастье... – говорю озабоченным голосом, глядя на барометр. Задумываюсь: «Однако, что это за официальное сообщение такое?!» – и спрашиваю:

– Вы, исправник, когда сюда ехали, не заметили на небе подозрительных туч?

Как и всякий недалёкий и самолюбивый чинуша, Онуфрий Пафнутьевич злится, ежели при обращении к нему подчёркивают только его должность, пренебрегая именем и отчеством, словно окликают официанта: «Эй, человек!». Вот и сейчас его лицо приобретает желтушный оттенок, губы вздрагивают... Бедняга! Ехал злорадствовать, даже руки потирал в предвкушении, а тут вдруг – накося!..

«Ничего, я отучу тебя наглеть со мною!» – думаю я, и шучу:

– Неужели крестьянам волю дают?

Глаза исправника выражают полнейшее недоумение. В них так и читается: да что же это такое делается?! нет, чтобы порасспросить, какое такое сообщение да где и когда опубликовано, так он ещё и глумится!

– Помните, незадолго до провозглашения «Манифеста» вы, Онуфрий Пафнутьевич, убеждённо заявляли, что, мол, отмена крепостного права – это покушение на помещичьи права, сиречь недопустимое безрассудство? – спрашиваю я самым безобидным тоном, какой только можно передать посредством голоса.

Свёкольное лицо Аксельбант-Адъютантского покрывается васильковыми пятнами. Да, тогда он, не признавая диалектику жизни, не желая видеть очевидные факты, вроде дворянского губернского комитета, вот уже два года по мере сил своих участвовавшего в разработке статей «Манифеста», вздумал понтировать бубновою шестёркою противу всех козырей в колоде – и оглушительно проиграл, конечно же.

– Ваше, как вы говорите, «официальное сообщение», – интересуюсь я, радуясь про себя, что отдалил-таки мозоль исправничего самолюбия, – невзначай не из категории новостей сомнительных?

В глазах Онуфрия Пафнутьевича зарождаются крохотные искорки – и через мгновение обращаются факелами полыхающего торжества; оные, заглушая друг друга, стрекочут сгорающей сосновой саранчой, стекают на ковёр расплавленной смолой...

– Нет-с, сведения почерпнуты из источника самого достовернейшего – нумера газеты «Московские ведомости», утром мною полученного, – говорит он, и я слышу, как подступающее злопахательские слова словно бы в поисках выхода булькают и клокочут у него в горле. Развалившись в кресле, он буравит меня взглядом, выстукивая пальцами по подлокотнику кресла нечто бодрое, маршеобразное, похожее на «беги! – коли! – ура! – наша взяла!». Не дождавшись от меня признаков нетерпения, медлительно, словно упиваясь каждым произносимым словом, выцеживает сквозь усы:

– Речь идёт... о должности, занимаемой вашим... покорным слугою...

Заметив на моём лице изумление (которое я и не попытался скрыть), подаётся ко мне вместе с креслом, говорит с короткими придыханиями после каждого слова, словно всаживая штык в брюхо врага:

– Отныне и навеки должность моя более не выборная, а зависит едино от воли губернатора нашего! Лишь он один может... – и тут его волосатый палец наставляется на плафон, расписанный облаками и откормленными купидонами так аляповато, как будто их писали не краскою, а крашеным творогом, причём купидоны с раздувшимися, словно бы от зубной боли щеками, до смешного смахивают на моего гостя без мундира, – рекомендовать кандидата на должность исправника правительству! Да-с!

И Онуфрий Пафнутьевич снова разваливается в кресле. Пальцы его барабанят знакомый призыв куда-то бежать и кого-то колоть, ноги, вздрагивая мясистыми ляжками, постукивают в такт каблуками сапог, отчего шпоры раздражаются раскатистым жестяным хохотом, – и вся эта варварская музыка в стиле *militaris* очень уж смахивает не на марш, а на донельзя примитивные трезвоны *country*, как будто бы на лугу корова трясёт головою, и ботало, привязанное к её шее, своими деревянными сухими и звонкими аккордами подзывает хозяйку: «По-ра! по-ра! по-ра доить!»

Вчерашний прусак и сегодняшний ветер – лыко одной строки... Что бы там ни говорили, а плохие приметы – самые верные! Потому, наверное, и новость меня, уже подготовленного к неприятностям, не огорошила, а должна бы: неподконтрольность исправников в таких отдалённых уездах, как наш, – это же... да это же означает, что все мы – от дворян до крестьян – отныне отданы им на кормление! Это даже не самоуправная властная испольщина³³, процветающая повсюду (к которой все до такой степени привыкли, что воспринимают её не как произвол, а

как уплату податей в казну), ведь это же – узаконенный грабёж! Ведь это приведёт к разорению помещиков, вынужденных ради выживания ходить по краю закона и нет-нет да и преступать через край его: честно у нас не проживёшь, чай, у нас не европейские порядки... Ежели вчера от таких, как Онуфрий Пафнутьевич, откупались те, кто преступал законы, то сегодня платить будут все! Альба в юбке, получившая неограниченное право карать и миловать, назначит каждому собственнику помесечную мзду, назвав её, например, «за спокойствие». Так-так-так, что-то такое вспоминается... Да, – на Корсике и Сицилии сей промысел процветает столетиями, и никого это не удивляет. Писатель французский, как бишь его, запаматовал... Проспер Мэри? Нет... Так фамилия его на языке и сидит... Мэрем? Нет... Вот он, невоспоминаемый, об этих бандитах новеллы написал. Книжка была потрёпанная, без переплёта, начала и конца, страниц, помню, многих недоставало; а новеллы – чудесные, особенно «Кармен»³⁴...

...Что-то меня в сторону занесло... Пожалуй, новость всё-таки того... ошеломила. Такое чувство, словно в голову всыпали преизрядную горсть турецкого табаку приятеля моего, Бессовестнова: во лбу над переносицей жжёт, в виски кузнечными молотами изнутри так и ударяет – бух-бух...

– О чём это вы, Михаил Евгеньевич, задумались, запечалились... – шелестит откуда-то из угла комнаты.

...О чём это в Санкт-Петербурге думают?! Ведь, ежели позволить исправникам вкупе с местными чичиковыми да хлестаковыми, этой армии прожорливых и вечно голодных крыс, вьестся в российский пирог – лет за пятьдесят сожрут его вместе с нами весь, без остатка, без единой крошки!.. Из Зимнего дворца, конечно, виднее, как и что делать, но ведь, когда трон поставить будет некуда, то и спохватываться будет уже поздно! Как самодержец, посиживая на своём даже и не троне, а тронном стульчике, собирается держать в повиновении громадную армию крыс, рассеянную на подвластной ему огромнейшей территории, ни единою частичкою мозга не понимаю и не пойму!.. Ведь, когда грызть будет уже нечего, крысы сожрут и самого самодержца, и его самодержавное семейство, а потом, – из-за отсутствия пищи, – и друг друга! И останется на голых российских просторах лишь одно живое существо – крысиный король...

...Эта «шутка» с назначением исправников и разорением помещиков может кончиться также прескверно, как и в просвещённой Европе, то бишь – жутковато и подумать – революцией; но французская революция вознесла на трон лишь корсиканца, потрясшего часть европейских государств, а революция русская изрыгнёт из своего мрачного и зловонного нутра такого ужасного, кровавого злодея, что уже весь мир содрогнётся и обрушится в тартарары...

...Боже мой, какие мысли вдруг одолели, даже ладони взмокли...

– Боже мой, как вы, Михаил Евгеньевич, вдруг побледнели... – крадётсЯ шелест уже из другого угла.

Да от таких новостей позеленеть можно! Как только мелкий собственник перейдёт незримую черту закона, – вот тут-то исправник (недремлющий страж закона и крыса одновременно) и схватит несчастного, оттяпает кусок его собственности «за спокойствие». Оттяпает раз-другой – и пойдёт вчерашний собственник наниматься в работники, или на большую дорогу с кистенем, или, хуже того, в революцию...

А мне откупаться – как, чем? Впрочем, я к ручке Альбины Ильиничны не прикладывался, ничем ей не обязан, – что она может с меня потребовать?

Так-так-так, кажется, я начинаю понимать её интерес, и объединён этот интерес не с казначейскими билетами, а с областью, для неё далёкой, но для её легитимированного грабежа крайне необходимой...

Но кто же сказал, что этот болван будет утверждён исправником нашего уезда?

– Вы, Михаил Евгеньевич, не больны? – громко доносится из мерцающего розовыми и зелёными сполохами пространства, и, очнувшись, я вижу перед собою физиономию Аксельбант-Адъютантского, на которой фактурными мазками намалёвана въедливая полицейская пытливость.

– Нет, вы обмишурились... – отвечаю свежим голосом: возвращение в действительность произошло быстрее, чем я ожидал. – Скажите, Онуфрий Пафнутьевич, в газете так и было опубликовано, что, мол, исправники, занявшие свою должность по результатам предшествующих уездных выборов, утверждаются в своей должности правительством, причём все без исключения? Признайтесь, из каких источников проистекает уверенность в вашем назначении?

Исправник заметно озадачивается: его круглое лицо вытягивается, румянец пропадает, пальцы выстукивают черт-те какую сбивчивую дробь, очень похожую на сигнал поспешного отступления.

– Думаю, что... кого же, как не нас... опытность... и преданность престолу... – бормочет он, силясь улыбнуться, но его губы, напоминающие обваренных крутым кипятком дождевых червяков, извиваясь, расползаются в стороны, словно стремясь спастись от пройдохи Антипки, вознамерившегося приготовить из них запеканку или жаркое, или покрошить их в какой-нибудь салат. – В ближайшее время всё разъяснится... – говорит он, безостановочно бегая пронырливыми глазами по комнате, не задерживаясь ни на одном предмете, – и, надеюсь, в той мере... которая... будет... (Онуфрий Пафнутьевич может озвучить вычитанную велеречивую или хлёсткую фразу, но выстроить свою – внятную – довольно-таки часто затрудняется, поэтому у меня иногда возникает чувство, будто я слушаю не человека, а птицу-звукоподражателя, какого-нибудь жёлтохохлого какаду.) Но это... – продолжает он свою бессвязную речь, причём его липкие глаза начинают кружить возле меня, словно мухи вокруг свадебного торта, – как бы... а вот выборы предводителя... необходим достойный кандидат!

Меня трудно удивить (не потому, что всё перевидал и перечувствовал: таким уж уродился), но глаза мои начинают круглеть и вылезать из орбит, созданных природою и анатомиею человеческою...

– Кто, по-вашему, достоин быть предводителем? – спрашиваю я.

Исправник задумчиво кряхтит.

– Ну... Забугорский неплох.

До чего же этот полицейский остолоп предсказуем!

Для Альбы в юбке кандидата лучше, чем Пётр Спиридонович, в нашем уезде, конечно же, не найти: наружность представительная, спесивый, глупый (видит не дальше своей псарни, да и вообще обо всём имеет смутное представление, ежели имеет его вообще), управляем, особенно более или менее грамотным, льстивым или просто нахрапистым человеком, – то бишь, кем угодно. Такого выбери предводителем, нашепчи в уши ласковых слов, подсунь на подпись любую бумагу, даже распоряжение об отмене самодержавия в Российской империи, – он и подмахнёт, не читая, лишь бы себе и льстецу приятное сделать. Поэтому его ключница Лукерья, телесами и лицом весьма обольстительная, всё его имение в своих холопских руках и держит, что и нашёптывать умеет, и вообще – ласковая (Пётр Спиридонович уже в годах, но ещё в силах ввергнуть Лукерью в некоторое женское смущение).

– А, скажем, Книжников? – спрашиваю я с самым простодушным видом. – Молод, но сметлив не по годам, – чем не предводитель?

По лицу Онуфрия Пафнутьевича скользит пренебрежительная гримаса.

– Дерзок! – признаётся он вдруг, – и слова всё мудрёные какие-то изрекает... Знать, оттого, что в Московском университете курс наук проходил. – Онуфрий Пафнутьевич смотрит

на меня осуждающе, словно бы это я принудил Книжникова учиться в университете, соболезнующе вздыхает: – Стоило волочься в такую-то даль! Одного овса лошадям на прокорм, – это сколько же надо! Лучше бы в губернском коммерческом училище выучился, да и пошёл себе потихоньку по торговой-то части...

Нет, я не стану стрелять в Онуфрия Пафнутьевича: такого дурня надо поберечь, хотя бы и для истории!.. Но это – эмоции, а по факту исправник передал волю своей супруги: на предстоящих выборах белые шары должны быть преподнесены Забугорскому, и никому другому. В сущности, Альба в юбке определила дилемму: я или поддерживаю её кандидата, или отказываюсь. Ежели я – «за», то живу спокойно, ежели «против» – меня уничтожат при первой же возможности. Решительная баба эта исправничиха, ничего не скажешь, но у любой наглости есть пределы, как и у терпения, даже и моего!

И я, не колеблясь, говорю:

– Забугорского поддерживать не стану, а вот Книжникова – с моим удовольствием. Мало того, в деле выдвижения Анатолия Константиновича в предводители я приму самое деятельное участие. Но довольно об этом... Какие ещё новости в уезде?

– К Бессовестнову дочери пожаловали, Мария и Елизавета, – механически сообщает исправник, глядя на меня с возрастающим недоумением. – В ихней городской квартире ремонт случился, вот они и... Так, значит, вы против Забугорского? – спрашивает он вдруг, надеясь, по-видимому, что я ещё одумаюсь.

– Против, – подтверждаю я. – Так и передайте Альбине Ильиничне; заодно и мои наилучшие пожелания. А сейчас, извините, неотложное дело обязывает...

С этими словами я встаю с кресла. Исправник звучно глотает и выпучивает на меня глаза: выпроводить гостя, не накормив его обедом – верх уездного неприличия, сродни оскорблению действием. Принуждённо раскланиваясь, он пятится к выходу, багровея от натуги, запикивается в тесную шинель, нашаривает рукою фуражку. Я мысленно желаю ему: «Исполать тебе, исправник!» – и несколько не жалею, что волею судьбы ввязался в предвыборную баталию, для меня, по сути, никаким боком не интересную.

Скоро мимо окон цокают подковы (с громкою, как мне показалось, укоризною), вот минуют ворота, вот уже глухо ударяют о полевою дорожку – и через минуту уже ничто не напоминает о визите Онуфрия Пафнутьевича, лишь какая-то недомолвка незримо витает в душном июльском воздухе... Вспоминаю: дочери.

Откуда у Евграфа Иринарховича взялись дочери?

Глава VI

Однажды зимою (помнится, незадолго до рождества) Бессовестнов нагрязнул ко мне в гости. После обеда, неплохого, но скучного (вопиюще трезвого) для его желудка, сидел на диване, слушал посвисты вьюги за окнами и поминутно и утомлённо зевал. Желая развеять его меланхолическое настроение, я спросил, не подумывает ли он жениться, хотя бы ради продолжения своей именитой фамилии. Он взглянул исподлобья быстро, испытующе, затем вдруг снял с шеи золотой медальон, открыл и, ни слова не говоря, передал мне.

Я всегда воспринимал медальон приятеля как безделушку, не раз говорил, что, наверное, не одни лишь амурные воспоминания заставляют его носить на шее неудачу безвестного ювелира, предполагал хранение под обсеянной мелкими бриллиантами крышкой, кроме прядки волос, засушенного цветка ромашки и прочих милых штучек, хранимых на память о ветреной юности, пары погашенных векселей или долговую расписку. Евграф Иринархович никогда не возражал, не отшучивался и ловко уводил разговор в сторону. Поэтому его внезапное желание (но, как мне показалось, вовсе не под влиянием душевного минутного порыва) раскрыть тайну медальона поразило меня чрезвычайно.

Я взял его, взглянул, – признаюсь, не без трепета – и увидел миниатюрный портрет.

На меня смотрела настоящая красавица в простом белом платье с рюшами (таковые до сего времени носит ржаная, творожная да яблоневая провинция). Лицо её, округлое, нежное, окутанное романтической дымкою, дышало подлинным женским благородством, ныне, во второй половине девятнадцатого века, прекрасной, но – увы! – прагматичной половиной человечества почти что утраченном; каштановые волосы свободно вились над высоким лбом и ниспадали на плечи; полные губы улыбались тихой, затаённой, отчего-то печальной улыбкой; яркий румянец цвёл на щеках, разливался по лицу и придавал коже чудесный персиковый оттенок; миндалевидные глаза цвета голубовато-зелёной бирюзы, оттенённые густыми ресницами, смотрели и приветливо, и мечтательно, и грустно, и чуть отстранённо, словно издали.

Портрет произвёл на меня впечатление двойственное: солнечного майского полудня и в то же время сумрачного сентябрьского утра; похожее чувство иногда возникает, когда в погожий безветренный день наблюдаешь где-нибудь в лесу или парке дремотную листопадную óпадъ.

– Это она? – спросил я, возвращая медальон (приятель молча кивнул), хотя зачем было и спрашивать, ежели и так ясно, что это изображение жены Евграфа Иринарховича: в его доме не было ни одного женского портрета, и никто, даже самые близкие его товарищи, вроде меня, не знали, как выглядела его жена, и только её лик он мог носить на груди. Признаться, такая преданность, присущая, по моему убеждению, лишь настоящей любви, меня изумила, и я вдруг внезапно понял причину безудержных попок в его доме, и почему вино его не брало: даже оно не могло заглушить непреходящую тоску по жене.

– Отчего она... умерла? – набравшись духу, снова спросил я.

– Скоротечная чахотка. Она узнала, что обречена и попросила меня заказать портрет на память, – после продолжительного молчания ответил приятель, глядя в окно с тоскою в глазах и голосе, тоскою пронзительной, в сравнении с которой морозные узоры на стёклах показались мне весенней травой.

Разумеется, тем вечером я уже не решился ни о чём его спрашивать, тем более о женитьбе, да и приятель вдруг засобиравшись к себе в Золотые Сосны, хотя прежде согласился у меня переночевать. Конечно же, я его не удерживал.

Расхаживая по комнате, рассеянно покручивая в руках пояс шлафрока, я задаю себе вопросы без ответа: почему меня вдруг заинтересовали дочери Бессовестнова? что за таинственная причина заставляла его прятать их все эти годы? сколько им сейчас исполнилось лет? на какие средства они жительствова­ли в своей городской квартире, ежели их отец жил в деревне на широкую ногу? только лишь дочери – причина отлучек моего приятеля в город? с имения много не выжмешь, – так, значит, основной источник его доходов находится в городе? не играет ли он в карты на деньги?

Бред! Этак скоро я задам себе вопрос: а вдруг мой приятель – шулер?

Устав от ходьбы, мыслей, я сажусь в кресло и погружаюсь в воспоминания и подсчёты.

Евграф Ириархович появился в нашем уезде около двадцати лет тому назад, когда умер престарелый Роман Гаврилович, последний представитель – так думали – дворянского рода Бессовестновых. Казалось, имение ожидает участь выморочного, но незамедлительно приехавший из губернской столицы стряпчий³⁵ огласил завещание усопшего и положил конец начавшимся догадкам и пересудам.

Из завещания явствовало: имение, состоящее из села Золотые Сосны, двух деревенок – Ближней Доезжаевки и Дальней Доезжаевки, четырёхсот десяти³⁶ незаложенной земли с лугами, трёхсот пятидесяти десяти³⁷ векового леса и числящимися по ревизской сказке³⁷ крепостными душами мужеска полу (пятисот двадцати одной) отныне и безраздельно принадлежит Евграфу Ириарховичу Бессовестнову, внучатому племяннику троюродного брата Романа Гавриловича. Сего племянника, офицера, пехотного поручика, следовало ещё и разыскать на Кавказе, в армии, действующей против Шамиля³⁸, дабы объявить известие, скорее радостное для него, нежели горестное.

Однако же вместо наследника, ожидаемого с понятным для захолустья нетерпением, приехал назначенный им бурмистр³

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.